

УДК 81:39+811.161.1'37
DOI: 10.17223/19986645/55/4

Т.В. Леонтьева

ДИАЛЕКТНЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ С ГЛАГОЛОМ *ОСТАТЬСЯ* КАК ОБОЗНАЧЕНИЯ УПАДКА В РУССКОЙ ДЕРЕВНЕ: СЕМАНТИКА И КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ¹

*Осуществлен семантико-мотивационный анализ русских диалектных речевых оборотов, представляющих собой устойчивые конструкции с глаголом *остаться*. Русские диалектные выражения, в составе которых присутствуют группы существительных (например, «существительное + союз *да* + существительное») и глагол *остаться*, часто служат обозначениями упадка в русской деревне. Они передают смысл 'обезлюдеть', описывают состояние дел, складывающееся из-за отъезда людей, а именно развал, упадок, своеобразное ослабление «социального ресурса». Новизна работы определяется обращением к лексическому материалу, ранее не опубликованному и хранящемуся в картотеках и архивах.*

Ключевые слова: *этнолингвистика, фразеология, семантико-мотивационный анализ.*

Исследователи русских народных говоров анализируют диалектный дискурс с разных позиций: в отношении реализуемых жанров (автобиографический рассказ, мемораты, сентенции), или основных тем (голод в годы войны, крестьянский труд, общинные гуляния, помочи и др.), или ключевых понятий (дом, обычаи, предки и т.д.), или характеристик менталитета, которые детерминируют особенности речи – ее содержание и форму. Например, Е.В. Иванцова, обобщая эти суждения и находя им подтверждение в процессе анализа записей речи одной диалектной языковой личности (Веры Прокофьевны Вершининой, носителя сибирского старожильческого говора), говорит о том, что «к доминантным чертам мировидения носителя народно-речевой культуры можно отнести антропоцентричность, приоритет личного опыта, опирающегося на сенсорные впечатления, по отношению к логическим умозаключениям, конкретность, образное восприятие действительности (с особой значимостью перцептивных образных впечатлений, ощущением тесных связей человека и окружающего его мира – вплоть до их представления как нерасчлененных в сознании диалектоносителя) и, наконец, оценочность» [1. С. 39].

С точки зрения концентрации этих черт в одной языковой черте или речевой особенности нам показались любопытными (как феномен) выражения с глаголом *остаться*, описывающие вымирание деревни: костром.

¹ Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект № 16-18-02075 «Русский социум в зеркале лексической семантики»).

Теперь в деревне никого не *осталось*, арх. *Деревня-то наша не корыстна* (= невелика), *всё старьё одно осталось* [2. Т. 6. С. 67], перм. *Никого уж в деревне-то нет, остались только шиша да агашиа, да шио третья палашиа* [3. Т. 2. С. 554]. Анализ словарей и картотек позволил выявить несколько десятков подобных диалектных фиксаций, в том числе записанных участниками экспедиции Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина на Русском Севере, но надо полагать, что эти материалы могут быть дополнены.

Коммуникативной задачей подобных высказываний являются сетования, выражение сожалений по поводу исчезновения деревень как признака глобальных перемен («всё меняется <в деревне и мире>»), выражение обеспокоенности из-за этих перемен, воспринимаемых как разрушение жизненных основ. Иначе говоря, речевые обороты этой группы используются тогда, когда предметом речи является сравнение прошлого и настоящего. Репрезентированный в этих номинациях ментальный конструкт наступивших перемен лежит в области темпоральной картины мира.

Диалектологи отмечают, что разные временные планы имеют в сознании диалектоносителя разную степень значимости (это тоже одна из существенных особенностей диалектного дискурса – в дополнение к названным выше). Так, Е.В. Иванова приводит любопытную статистику: в русском паремиологическом фонде количество пословиц о прошлом в четыре раза превышает число соответствующих пословиц в английском языке [4. С. 26]. М.В. Пелипенко замечает, что «сопоставление прошлого и настоящего является отличительной особенностью всех рассказов диалектоносителей об укладе сельской жизни» [5. С. 21]. С.М. Белякова, рассматривая вербальные воплощения представлений о прошлом и будущем в старожильческих говорах юга Тюменской области, заключает следующее: «Основным временным планом в диалектных текстах остается план прошлого, при этом главной оппозицией является “прошлое – настоящее”» [6. С. 87], в то время как «будущее гораздо менее актуально для диалектоносителя» [Там же. С. 85].

В целом с этим утверждением можно спорить, поскольку «темпоральные предпочтения» диалектоносителей объясняются во многом возрастом опрашиваемых информантов и ситуацией экспедиционной записи, когда фактически информант побуждается собеседником к созданию устного произведения заданного жанра – воспоминаний, устного автобиографического рассказа. Даже в отвлечении от специфики диалектного дискурса можно вспомнить, что «будущее время в естественных языках всегда занимает более периферийное место» [7. С. 77]), а в подсистеме народных говоров это проявляется еще заметнее: «План будущего вообще (т.е. и грамматическое и лексическое его выражение) в диалектных текстах отмечается сравнительно редко. Так, из выборки в 1000 предложений, имеющих темпоральные определители, предложения, отражающие план прошлого, составляют 42,5 %, план настоящего – 31%, план будущего – всего 5%» [6. С. 80]. Если принять во внимание перечисленные аргументы, то это

существенно ослабит версию об особом, ориентированном на прошлое менталитете носителя традиционной культуры.

И все же невозможно отрицать, что семантическая оппозиция «прошлое – настоящее» заметно проявляет себя в отдельных тематических сегментах диалектного дискурса. Важнейший из них объединяет тексты, высказывания, посвященные обычаю, социальному порядку. Так, Ю.Н. Грицкевич и В.Г. Новиков рассматривают наречную оппозицию *раньше (тогда) – теперь* как один из типичных лексических показателей концепта «Мода» [8] (*А раньшеы маркофку не была моды сеить, не была абычая; Тяперь моды нет рукам касить; Мода был ф каляду блины пячи; До трёх дней кристили, а ни крестицца нильзя, ни в моди* [Там же. С. 78]), а словом *мода* в диалекте обозначается именно обычай.

Сходный вывод делает С.М. Белякова, также комментируя функционирование вербальных маркеров времени (*раньше, прежде, прошлый, до-прежней, ранешной* и др.) в диалектных текстах, записанных в Тюменской области (*Преже не така жизнь была; Раньше семь деверей и семь снох вместе жили; Ране мужики были больши, а теперь бабы над мужиками больши*): «В речи данные лексемы чаще всего употребляются с особым коммуникативным заданием: как правило, они относятся к другому жизненному укладу, который сопоставляется (эксплицитно или имплицитно) с существующим в настоящее время» [6. С. 80]. Неудивительно, что временные маркеры вводят в речи фрагменты рефлексии по поводу перемен в социуме, обусловленных движением времени. В «Новом объяснительном словаре синонимов русского языка» справедливо отмечается: «В *раньше* очень важна идея сравнения», и в контекстах, включающих это наречие, «сравнивается скорее не время, а сами ситуации» [9. С. 941].

Итак, в речи носителей русских народных говоров с высокой степенью регулярности маркируются социальные изменения, при этом констатируется факт смены эпох. Обороты с глаголом *остаться* – одно из средств маркировки социальных перемен.

О глобальных переменах в жизни деревни как существенном для традиционного сознания факте действительности могут свидетельствовать самые разные черты быта, например отсутствие работы, исчезновение школ, больниц, органов административного управления, утрата деревней статуса самостоятельного населенного пункта и проч. И такие сюжеты встречаются в диалектных записях бесед с информантами, однако они не носят регулярного характера и не имеют специальных, устойчиво воспроизводимых языковых средств выражения.

На уровне речи устойчиво фиксируются только конструкции с глаголом *остаться*. На первый взгляд в их основе лежит количественный денотат «никого не осталось в деревне / мало кто остался», поскольку логически мы легко восстанавливаем в них указание на то, что люди переезжают в города безвозвратно, на постоянное местожительство, покидают деревню. Однако мотивировка, положенная в основу большинства таких высказываний, на самом деле еще более узкая –

«остались только люди определенного сорта», т.е. «люди, которые принадлежат социальной периферии».

Демонстрируя использование оборотов со словом *остаться* как особенность диалектного нарратива, мы намеренно первым привели контекст, в котором глагол *остаться* сочетается со словом *никого* (костром. *све́жий* ‘приезжий’ (*Теперь в деревне никого не осталось: кто умерли, кто свежые, вот как ты например. Свежий равно что приезжий*) [10]) и фиксируется элементарный смысл ‘отсутствие людей’. На этом фоне виднее становится специфика прочих конструкций, когда элемент «никого» замещается, как ни странно, смыслами присутствия, при этом совсем не смыслом «(осталось) малое количество жителей». Акцент смещается на пропозицию «остались негодные люди».

На месте количественного признака закрепились идея «социального атрибутива». Очевидно, что выбор номинатора в ее пользу обусловлен прагматическим мировидением носителя традиционной культуры, который имеет склонность к оценке человека (и себя в том числе) по критерию «годный – негодный» к работе.

По контекстам реконструируются направления детализации «негодности».

Проанализируем две записи диалектной речи: (1) арх. *Деревня-то наша не корыстна* (= невелика), *всё старьё одно осталось* [2. Т. 6. С. 67]; (2) волог. *ста́рый да ма́лый да люд неуда́лый* ‘о малом количестве людей’ (*Много осталось там в деревнях, старый да малый да люд неудалый*) [11].

Они показывают, что к «негодным» отнесены две возрастные группы – «престарелые люди» и «дети» («возрастные окраины»). Кроме того, как подсказывает спектр значений слова *неудалый* в русских говорах, речь идет о неумелых, нерасторопных, непроторных, ленивых, плохих работниках: *Руки неудалые, как грабли, как клещи поганые; Неудалую жену он взял; Як пошел мой неудал шилом сено косить* [12. Т. 21. С. 187]. Помимо этого, обратим внимание, что антоним *удалый* ‘быстрый, подвижный; проворный в работе; ловкий, сноровистый, умелый; работающий; сильный; здоровый; хорошего качества’ [Там же. Т. 46. С. 270] сигнализирует еще и о том, что «неудалость» может обозначать не только нежелание или неумение работать, но и неспособность работать из-за болезни, по немощности.

Если в выражении *люд неудалый* лишь слабо просвечивает смысл ‘нездоровый, немощный’, то в других выражениях он присутствует очевидно, вне всяких сомнений: (4) волог. *косо́й да же́лтый* ‘о немощных людях, оставшихся без поддержки’ (*Ну, остались в деревне шоша да мотюша, косо́й да же́лтый*) [2. Т. 6. С. 81], волог. *криво́й да же́лтый* ‘о немощных людях, оставшихся без поддержки’ (*Никого дельных не осталось – криво́й да же́лтый*) [2. Т. 6. С. 164]. Приведенные контексты, содержащие слово *остаться*, неинформативны относительно выявления характеристик денотата, мы можем только предполагать (хоть и с высокой степенью надежности, если имеем представление о регулярных семантических моделях), что такое *криво́й / косо́й да желтый*, однако другая запись содержит прямое

пояснение информанта: волог. *дым да угър, кривой да жёлтый* ‘всякий сброд’ (*Дым да угър, кривой да жёлтый – собрались там, плохие, больные, может*) [11]. Модус предположительности обусловлен тем, что информант рефлексировал над внутренней формой выражения и она подсказывает ему смысл ‘больной’.

Медицинская метафора обнаруживается еще и в костром. *хромь да вывих* ‘о немощных людях’ (*Мы уж тут остались – хромь да вывих*) [10], костром. *излом да вывих* ‘об отсутствии молодого работоспособного населения’ (*Тожэ деревни нет, что там осталось – излом да вывих, молодыхто нет, но есть ещё старички, живут*) [10]. Однако в данном случае, как нам кажется, не воссоздается образ немощных жителей деревни, а скорее дается образная характеристика «больной ситуации».

Итак, мы обратились к фразеологизмам, имеющим образную основу, или к конструкциям со словами, имеющими переносное значение. Денотат несколько труднее реконструировать в случаях, когда социальная периферия получает метафорические обозначения, но все же и тут можно опереться на анализ контекстного окружения и прибегнуть к анализу внутренней формы слова или буквальной основы фразеологизма.

Пример из наших костромских записей укажет еще на одну трактовку «социальной негодности»: костром. *ошошь* ‘сброд, негодные люди’ (*Теперь кто в колхозе остался, одна ошошь, хорошие разбрелись да уехали*) [10].

Диалектное слово *ошошь* обозначает ненужные вещи, отбросы, остатки чего-либо, старые тряпки, обноски: костром. *ошошь* ‘о непригодных для обработки, сучковатых деревьях’ (*Лес рубят, да одни сучки, скажут – одна ошошь, брось рубить*), ‘лесной мусор’ (*В лесу это ошошь такая – разны ветки, кора на ветках бывает, как мох*), ‘малопригодные остатки чего-либо, дрянь’ (*Ну, например, дрова несут худые – «Всю ошошь ты собрал да принес»; Грибы, например, перебирала, одни хорошие, другие не очень, ошошь – это уже не очень, но в дело идет; Ошашь – дребедень разна брошена, на свалку только, тряпки всякие, еще что бесполезное*) [10], ср.: М. Фасмер объясняет вят. *ошошь* ‘мусор, отходы’ как появившееся из **осошь* в результате ассимиляции, поскольку цслав. *осошити* ‘обрубать сучья’, т.е. *осошь* – ‘то, что обрубается при отесывании дерева’ [13. Т. 3. С. 180].

В результате семантической деривации слово *ошошь* присоединилось к множеству экспрессивных характеристик людей. В частности, оно выступает обозначением детей: костром. *ошошь* ‘социально незначимые, маргинальные слои населения’ (*Косят-то взрослые, а потом отправляют нас – всю ошашь – к ночи: повернем сено, потом загребем и мечем стога; Ошашь – вся мелочь наша, вся мелузга – дети; Как ошошь – люди недорослые бегают, кто молодые*) [10].

Однако рассматриваемый пример словоупотребления касается работы в колхозе (**кто в колхозе остался...*), а значит, речь идет не о детях, поэтому нужно обратить внимание на другое значение этого существительного: костром. *ошошь* ‘представители «социального дна», маргинальные слои

населения, сброд, шваль' (*Вся ошошь идет; Вся ошошь собралась, пьянчуги-те; Мужик-от всю ошошь собрал, всех шалав-то; Ошошь – никчемные люди, распущенные там, гулящие, пьющие, курящие*) [10]. Следовательно, слово *ошошь* в обороте *в деревне осталась одна ошошь* служит переносным обозначением морально разложившихся, страдающих пороком пьянства, ведущих разгульную жизнь людей.

Наконец, «социальная негодность» уточняется посредством семантики бедности: перм. *скрёма да ерёма, кол да перетька* 'о малоимущих или немощных людях' (*Из той деревни-то все разъехались, одне старики остались – скрёма да ерёма, кол да перетька*) [14. С. 331].

Сема 'бедный' закреплена здесь в устойчивом сочетании *кол да перетька*, у которого имеются варианты.

Фразеологизмы подобной структуры выступают обозначениями бедняков, бедности, нищеты: костром. *кол да перетька*, горьк. *кол да ёр да перетька*, перм. *голь да перетька* 'о том, кто крайне беден; бедность' (*Сами кол да ер да перетька, а людей промывают*) [12. Т. 26. С. 249], волог. *кол да перетька* 'о тех, кто крайне беден' (*А мы бедные были, кол да перетька*) [15. Т. 7. С. 45]. Ср. пример того, как использован прием градации в художественном тексте при характеристике деревенской бедноты: *Теперь на Горах немало крестьян, что сотнями десятин владеют. Зато тут же рядом и беднота непокрытая. У иного двор крыт светом, обнесен ветром, платья что на себе, а хлеба что в себе, голь да перетька – и голо и босо и без пояса* (Мельников-Печерский. «На горах»). Факультативно, для демонстрации модели, упомянем еще один оборот: ленингр. *Ушла дочь, и остались дома шары да палки* [16. Т. 6. С. 834] (хотя контекст не имеет отношения к семантике упадка деревни). Каждое существительное в перечисленных выражениях – *палка, шара, кол, перетька, ёр / ёра, голь* – способно выступать в качестве обозначения очищенного тонкого ствола дерева, шеста, вицы: диал. *перетька* 'кол изгороди' [12. Т. 26. С. 248], пестерб., новг. *ёра, ёра* 'вид березы, низкорослая береза' [Там же. Т. 8. С. 363], арх. *ёры* 'ветки кустарника' [Там же. Т. 9. С. 37], др.-рус. *голь* 'ветка, gamus' [17. Т. I. С. 546], ленингр. *шарá* 'молодое деревце, обычно хвойное' (*Шару-то выбирай подольше, частокол будет повыше*) [16. Т. 6. С. 834]. Мы полагаем, что на появление и функционирование таких выражений оказал влияние известный в русской языковой картине мира символ: образ палки, кола связывается с отсутствием своего двора, дома: новг. *от колá жить* 'начинать с нуля' (*Как вот приехали, от кола жить начали, даже дома своего не было*) [Там же. Т. 2. С. 396], литер. *ни колá ни дворá* 'ничего нет' [18. Т. 3. С. 594]. В структурно-семантическом отношении мы имеем дело с перечислительными сочинительными конструкциями, которые инвариантно обозначают «то, что не составляет труда перечесать».

Конечно, нельзя подходить к трактовке богатства и бедноты с сегодняшним пониманием этих слов (как финансового благополучия и неблагополучия). Бедность «по-деревенски» – это прежде всего худое хозяйство,

неухоженный двор и дом, а причинами этой бедности могут быть и нежелание работать, и неумелость, и немощность.

Итак, в сущности во всех случаях конкретизации денотата выражений, называющих представителей социальной периферии, подразумевается трудовая характеристика человека: дети и старики нетрудоспособны, непутевые не хотят работать, болезные не могут работать и т. д.

Все шесть реконструируемых денотатов при всем их различии (это разные социальные слои, группы: (1) дети, (2) старики, (3) не умеющие работать, (4) немощные, (5) непутевые, (6) бедняки – объединены тем, что в сознании носителей языка связываются с неучастием человека в трудовой жизни деревни.

На первое место выходит характеристика человека по «социальному качеству», но количественная сема не исчезает вовсе, она сохраняется на уровне грамматической структуры высказывания в виде двучленной (реже – трехчленной) синтаксической конструкции с соединительным союзом *и, да*.

Анализ материала показывает, что постепенно логика осмысления номинируемой ситуации носителем языка уступает место языковой логике. Особенно часто это можно наблюдать при нарастании экспрессии.

В наибольшей степени внутренние потенции языка актуализируются при использовании антропонимов в составе сочетаний. Семантика негодного передается посредством включения во фразеологизмы русских имен, которые выступают знаками-носителями определенного комплекса смыслов, возникающего из аттракционных притяжений или на базе прецедентного содержания, если речь идет о мифологическом персонаже: волог., костром. *тю́ха (да) пантю́ха да колупай с братом* ‘о неуважаемых, никчемных людях, часто физически или морально ущербных, приехавших из разных мест: всякий сброд, кто попало’ (волог. *Понаехали без весть откуда – тю́ха да пантю́ха да колупай с братом. У нас в деревне оставиши тю́ха да пантю́ха да колупай с братом, кто дачники, кто местные*) [11], костром. *тю́ха да пантю́ха* ‘всякий сброд’ (*Остались тю́ха да пантю́ха, кто откуда. кто наврёт, кто сворует*) [10], костром. *тю́ха да понтю́ха* ‘о небольшом количестве людей’ (*Тю́ха да Понтю́ха в колхозе осталось, всё развалилось, все разбежались*) [Там же], арх., пск. *тю́ха (да) матю́ха* ‘о беспомощных людях (больных, старых, многодетных и т. п.)’ (*Никого уж нет в Юмже, тю́ха да матю́ха оставишь*) [11], волог. *шо́ша да мото́ша* ‘о никчемных, неспособных к работе, неуважаемых, немощных людях; всякий сброд’ (*Все разъехались, **остался** шо́ша да мото́ша – только бы выпить. Хорошие разъехались*) [Там же], костром. *шо́ша да мато́ша да колупа́й с бра́том* ‘о небольшом количестве людей’ (*Что нас осталось-то, шо́ша да мато́ша да колупай с братом, молодые повыехали, а старые повимирали, три дома стоит*) [10], перм. *ши́ша да ага́ша, третья – пала́ша* ‘малопочитаемые люди’ (*Кто у тебя сёдни был в гостях-то? – А-а, ши́ша да ага́ша, третья пала́ша; Никого уж в деревне-то нет, **остались** только ши́ша да ага́ша, да шио́ третья пала́ша*) [3. Т. 2. С. 554], перм.

тjотя да лjапа (Ноне только тjотя да лjапа в деревне-то и живут, кто уж совсем ничё не знат. Кто мало-мало грамотной, дак в город уходит) [3. Т. 2. С. 459], пск. *две васихи крестом* ‘о малом количестве людей; почти никого нет’ (*Да, в Арли-то народу две васихи крестом, никого не оставиши*) [19. Т. 16. С. 134].

Даже первый взгляд на приведенные примеры ставит перед нами вопрос о том, каков ономастический статус слов, имеющих сходство либо совпадающих с именами (*агашиа, ероха, мартын, тjоха, матjоха*, возможно, соотносимы с *Агафья, Ерофей, Мартын, Пантелеймон (Пантjоха), Матвей* и др.). Вероятно, в этом ряду есть случаи онимизации апеллятивов и случаи апеллятивизации онимов (детальный анализ выражений *тjоха-матjоха, тjоха-пантjоха* и их вариантов в аспекте ономастического статуса их компонентов см. в публикации Л.А. Феоктистовой [20. С. 103–106]), но чаще всего это нельзя установить наверняка.

Экспрессивная мощь антропонимов и квазиимен берет верх над конкретным смыслом ‘никто’, ‘мало кто’ (поскольку номинирует лицо, т.е. служит знаком присутствия людей) и как нельзя лучше подходит для выражения идеи об истощающемся человеческом ресурсе русской деревни. Поиск коннотаций имен, используемых в оборотах, наверняка увенчается успехом. Так, например, одна из трактовок слов *тjоха* и *матjоха* в составе анализируемого выражения как прозвищ изложена в книге И.А. Подюкова и Е.Н. Сваловой: «*Тjоха, Пантjоха да Колупай с братом*. Выражение основано на использовании прозвищ человека по недостаткам (*Тjоха* от *тjохать* – медленно идти, *матухаться* – мешкать в работе, *пантjохать* – медленно передвигаться) с одновременным сближением их с реальными формами имён (известно пермское *Матjоха* от *Матвей*, сибирское *Тjоха* – уменьшительная форма от имени *Христина*)» [21. С. 49];

Итак, среди конструкций вида «*остались в деревне* + S (субъект)» выделяется три модели, появление каждой из которых обусловлено разными факторами:

- логикой мышления (*никого не осталось*);
- мироощущением (<*остались*> *хромь да вывих*);
- собственными потенциями языка (*остались только шишиа да агашиа, да шио третья палашиа*).

Каждый фактор не изолирован от прочих, но имеет преимущество при формировании какой-либо из этих моделей.

Речевое явление, ставшее предметом нашего анализа, можно считать, с одной стороны, еще одним частным подтверждением тяготения диалектоносителя к эмоциональному типу оценки, а с другой стороны, свидетельством в пользу высокой значимости для представителей традиционной народной культуры ситуации коренных социальных трансформаций как факта действительности, который получает глубоко эмоциональную оценку. Рассмотренные сочетания глагола *остаться* с антропонимами и квазиименами обозначают исчезновение, гибель русской деревни и целого культурного слоя.

Список сокращений

арх. – архангельские говоры русского языка; волог. – вологодские говоры русского языка; вят. – вятские говоры русского языка; диал. – диалектное; др.-рус. – древнерусское; костром. – костромские говоры русского языка; ленингр. – ленинградские говоры русского языка; литер. – литературное; новг. – новгородские говоры русского языка; перм. – пермские говоры русского языка; петерб. – петербургские говоры русского языка; пск. – псковские говоры русского языка

Литература

1. Иванцова Е.В. Мировидение языковой личности в традиционной русской народно-речевой культуре // Вестник Томского государственного университета. Филология. 2014. № 4 (30). С. 27–42.
2. *Словарь* говоров Русского Севера / под ред. А.К. Матвеева. Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2001–2011. Т. 1–5.
3. *Словарь* пермских говоров / под ред. А.Н. Борисовой, К.Н. Прокошевой. Пермь : Кн. мир, 2000–2002. Вып. 1–2.
4. Иванова Е.В. Пословичная концептуализация мира : на материале английских и русских пословиц : дис. ... д-ра филол. наук. СПб., 2003. 415 с.
5. Пелипенко М.В. Социальная семантика в структуре диалектного слова (на материале тамбовских говоров) : автореф. дис. ... канд. филол. наук. Тамбов, 2009. 27 с.
6. Белякова С.М. Прошлое и будущее в диалектной картине мира // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Лингвистика и межкультурная коммуникация. 2005. № 2. С. 79–88.
7. Мельчук И.А. СЕЙЧАС и ТЕПЕРЬ в современном русском языке // Мельчук И.А. Русский язык в модели «Смысл Текст». Москва ; Вена, 1995. С. 55–79.
8. Грицкевич Ю.Н., Новиков В.Г. Концепт «МОДА» в диалектном дискурсе // Вестник Псковского государственного педагогического университета. Серия Социально-гуманитарные и психолого-педагогические науки. 2011. Вып. 15. С. 77–80.
9. *Новый* объяснительный словарь синонимов русского языка / гл. ред. Ю.Д. Апресян. М. : Языки славянской культуры, 2003. 1488 с.
10. *Лексическая* картотека топонимической экспедиции УрФУ (хранится на кафедре русского языка и общего языкознания Уральского федерального университета им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург).
11. *Картотека* Словаря говоров Русского Севера (кафедра русского языка и общего языкознания Уральского федерального университета им. первого Президента Б.Н. Ельцина, Екатеринбург).
12. *Словарь* русских народных говоров / ред. Ф.П. Филин, Ф.П. Сороколетов, С.А. Мызников. М. ; Л., 1965–2016.
13. *Фасмер* М. Этимологический словарь русского языка: в 4 т. / пер. с нем. и доп. О.Н. Трубачева. М. : Прогресс, 1986–1987.
14. *Прокошева* К.Н. Фразеологический словарь пермских говоров. Пермь : Изд-во Перм. гос. пед. ун-та, 2002. 431 с.
15. *Словарь* вологодских говоров. Вологда : Изд-во ВГПУ «Русь», 1983–2007. Вып. 12.
16. *Словарь* русских говоров Карелии и сопредельных областей / ред. А.С. Герд. СПб. : Изд-во С.-Петербур. ун-та, 1994–2005. Вып. 1–6.
17. *Срезневский* И.И. Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам : в 3 т. СПб., 1893–1912. Т. 1 : А–К. 1893. 771 с.; Т. 2. : Л–П. 1902. 771 с. Т. 3 : П–Я и доп. 1912. 996 с.
18. *Словарь* современного русского литературного языка: в 17 т. М. : Наука; Л. : Изд-во АН ССР, 1948–1965. Т. 17.

19. *Псковский* областной словарь с историческими данными. Л. : Изд-во Ленингр. ун-та, 1967–2008.

20. Феоктистова Л.А. Еще раз о рус. диал. *тюха-матюха (тюха-пантюха)* // Научный диалог. 2017. № 10. С. 98–110. DOI: 10.24224/2227-1295-2017-10-98-110.

21. *К пирю* едется, а к слову молвится : народная паремика Пермского края : [сборник фольклорных текстов с комментариями и истолкованиями] / Перм. гос. гуманитар.-пед. ун-т ; [авт.-сост. И.А. Подюков, Е.Н. Свалова]. СПб. : Маматов, 2014. 173 с.

DIALECTAL EXPRESSIONS WITH THE VERB *OSTAT'SYA* 'TO STAY' AS MARKERS OF DECLINE IN THE RUSSIAN VILLAGE: SEMANTICS AND THE COMPONENT STRUCTURE

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology. 2018. 55. 43–54. DOI: 10.17223/19986645/55/4

Tatyana V. Leontyeva, Russian State Vocational Pedagogical University (Yekaterinburg, Russian Federation). E-mail: leotany@mail.ru

Keywords: ethnolinguistics, Russian folk dialects, phraseology, verb *ostat'sya* 'to stay'.

The study is supported by the Russian Science Foundation (project No. 16-18-02075 "Russian Society in the Mirror of Lexical Semantics").

Russian dialectal expressions with the verb *ostat'sya* 'to stay', describing the extinction of the village, are analysed in semantic and motivational aspects. The communicative goal of these expressions is an expression of regret at the disappearance of villages. Expressions with the verb *ostat'sya* are one of the means of marking social change. Speech units in this group are used when comparing of the past and the present is the subject of the speech. The mental construct of occurring changes represented in these nominations is in the area of the temporal picture of the world.

At first glance, these expressions are based on the quantitative denotation of "no one stays in the village / few stay", because they imply an indication that people permanently move to the city for permanent residence, they leave the village. However, motivation underlying the majority of such utterances in fact is even narrower – "only people of a certain kind stay", that is, people who belong to the "social periphery".

The quantitative seme does not disappear, it remains at the level of the grammatical structure of the utterance in the form of a two-term syntactic constructions with the connecting conjunction *i, da* 'and'; however, the person's "social quality" characteristic still comes first. The focus is shifted to the proposition "unfit people left".

The place of the quantitative feature is taken by the idea of a "social attribute". The choice of the nominator in its favour is determined by the pragmatic world-view of the person of traditional culture, who tends to evaluate a person by the criterion "fit / unfit" to work. The contexts easily reconstruct directions of unfitness detailing.

The following social strata and groups are "unfit": (1) children (2) elderly people, (3) those who are not able to work, (4) infirm, (5) useless (6) the poor.

In all six cases, the specification of the expressions denotation implies the labour characteristic of a person (non-participation in the working life of the village): children and the elderly cannot work in full force, the shiftless do not want to work, the infirm are unable to work, etc.

The analysis of the material shows that gradually the logic of understanding of the situation by a native speaker begins to dominate over the logic of language. This can particularly often be observed with an increase in expression. To the greatest extent, the internal potency of the language is expressed in the use of anthroponyms in the structure of the considered utterances. The semantics of the unfit is expressed by the use of Russian names in the structure of phraseological units. These names are signs that denote a set of meanings arising from

language attractions or on the basis of the precedent content if talking about a mythological character.

The expressive power of anthroponyms and quasi-names takes precedence over the specific meaning ‘no one’, ‘few’, and better suits for expressing ideas about the dwindling human resources of the Russian countryside.

References

1. Ivantsova, E.V. (2014) Worldview of the language personality in the traditional Russian folk-speech culture. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology*. 4 (30). pp. 27–42. (In Russian).
2. Matveyeva, A.K. (ed.) (2001–2011) *Slovar' gororov Russkogo Severa* [Dictionary of the dialects of the Russian North]. Vols 1–5. Yekaterinburg: Ural State University.
3. Borisovoy, A.N. & K.N. Prokoshevoy, K.N. (eds) (2000–2002) *Slovar' permskikh gororov* [Dictionary of Perm dialects]. Is. 1–2. Perm: Kn. Mir.
4. Ivanova, E.V. (2003) *Poslovichnaya kontseptualizatsiya mira: na materiale angliyskikh i russkikh poslovits* [Proverbial conceptualization of the world: on the material of English and Russian proverbs]. Philology Dr. Dis. St. Petersburg.
5. Pelipenko, M.V. (2009) *Sotsial'naya semantika v strukture dialektного slova (na materiale tambovskikh gororov)* [Social semantics in the structure of the dialect word (on the material of Tambov dialects)]. Abstract of Philology Cand. Dis. Tambov.
6. Belyakova, S.M. (2005) Proshloye i budushcheye v dialektnoy kartine mira [The past and the future in the dialect picture of the world]. *Vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Lingvistika i mezhkul'turnaya kommunikatsiya – Proceedings of Voronezh State University. Series: Linguistics and Intercultural Communication*. 2. pp. 79–88.
7. Mel'chuk, I.A. (1995) *Russkiy yazyk v modeli "Smysl – Tekst"* [Russian language in the “Meaning – Text” model]. Moscow; Vienna: Yazyki russkoy kul'tury. pp. 55–79.
8. Gritskovich, Yu.N. & Novikov, V.G. (2011) Kontsept “MODA” v dialektnom diskurse [The concept “FASHION” in the dialect discourse]. *Vestnik Pskovskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta. Seriya Sotsial'no-gumanitarnyye i psikhologopedagogicheskiye nauki*. 15. pp. 77–80.
9. Apresyan, Yu.D. (ed.) (2003) *Novyy ob'yasnitel'nyy slovar' sinonimov russkogo yazyka* [New explanatory dictionary of synonyms of the Russian language]. Moscow: Yazyki slavyanskoy kul'tury.
10. Lexical card file of the Toponymic Expedition of the Ural Federal University (stored at the Department of the Russian Language and General Linguistics of the Ural Federal University named after the first President of Russia B.N. Yeltsin, Yekaterinburg). (In Russian).
11. Card file of the Dictionary of the dialects of the Russian North (Department of the Russian Language and General Linguistics of the Ural Federal University named after the first President of Russia B.N. Yeltsin, Yekaterinburg). (In Russian).
12. Filin, F.P., Sorokoletov, F.P. & Myznikov, S.A. (eds) (1965–2016) *Slovar' russkikh narodnykh gororov* [Dictionary of Russian folk dialects]. Moscow; Leningrad: Nauka.
13. Vasmer, M. (1986–1987) *Etimologicheskii slovar' russkogo yazyka: v 4 t.* [Etymological dictionary of the Russian language: in 4 vols]. Translated from German by O.N. Trubachev. Moscow: Progress.
14. Prokosheva, K.N. (2002) *Frazeologicheskii slovar' permskikh gororov* [Phraseological dictionary of Perm dialects]. Perm: Izd-vo Perm State Pedagogical University.
15. Volgograd State Pedagogical University. (2007) *Slovar' vologodskikh gororov* [Dictionary of Vologda dialects]. Is. 12. Vologda: Rus'.
16. Gerd, A.S. (ed.) (1994–2005) *Slovar' russkikh gororov Karelii i sopredel'nykh oblastey* [Dictionary of Russian dialects of Karelia and adjacent areas]. Is. 1–6. St. Petersburg: St. Petersburg State University.

17. Sreznevskiy, I.I. (1893–1912) *Materialy dlya slovarya drevnerusskogo yazyka po pis'mennym pamyatnikam: v 3 t.* [Materials for the dictionary of the Old Russian language from written records: in 3 vols]. St. Petersburg: Tipografiya Imperatorskoy akademii nauk.

18. Chernyshyov, V.I. (ed.) (1965) *Slovar' sovremennogo russkogo literaturnogo yazyka: v 17 t.* [Dictionary of the modern Russian literary language: in 17 vols]. Vol. 17. Moscow: Nauka; Leningrad: USSR AS.

19. Bashmakova, A.P. et al. (1967–2008) *Pskovskiy oblastnoy slovar' s istoricheskimi dannymi* [Pskov regional dictionary with historical data]. Leningrad: Leningrad State University.

20. Feoktistova, L.A. (2017) Once More on Russian Dialect tyukha-matyukha (tyukha-pantyukha). *Nauchnyy dialog*. 10. pp. 98–110. (In Russian). DOI: 10.24224/2227-1295-2017-10-98-110.

21. Podyukov, I.A. & Svalova, E.N. (2014) *K piru yedetsya, a k slovu molvitsya: narodnaya paremika Permskogo kraya* [Folk paroemias of the Perm region]. St. Petersburg: Mamatov.